

Абрамов Федор Александрович

Материнское сердце

Ни одного не осталось, все там... А какой лес был! Петя, Ваня, Павел, Егор, Степа... Пять мужиков! Я, бывало, время рожать подходит, не про то думаю, как их всех прокормить да одеть, а про то, как за столом рассадить. Стол-то, вишь, у свекра был небольшой, на себя с хозяйкой да на сына делан, а меня в дом взяли — засыпала ребятами. Ну, о старших я уж не говорю — тех война съела. На одном году три похоронки получила — вот как по мне война-то прошлась. И Егор тоже через войну нарушился — в плену у германца был. А Степа-то! Мизинец-то мой желанный! Тот уж по моей совести, того я сама упустила... Вот и не просыхаю. Какой уж — двадцать семь пошел, а я все точу себя, все думаю: ох, кабы спохватилась ты тогда пораньше, Офимья, не куковала бы теперь одна на старости. Ложусь и встаю с тем. Ты когда из дому-то уехал? До войны еще? В тридцать восьмом? Ну, дак Степу-то ты и не помнишь. Я его в тридцать четвертом на беду родила. Все дети у меня хорошие были — ни на одного не пообижусь, а такого не было. Чистое золото! Сколько ему — девяти годков не было — помер, а мы с девкой не знали дров да воды. Все он. За скамейку станет — самого не видно, только пила зыкает. И за грибами там, за ягодами — не надо посылать, сам бежит... Вот это-то его старанье и сбilo меня с толку. Я уж тогда на него глаза раскрыла, когда он кровью заходил. Как-то раз вышла утром за хлев — не знаю, из-за чего дома до бела света задержалась, так-то все и на работу и с работы в потемках, ребят в лицо по неделям не видишь — вот как мы в войну-то робили, а тут не знаю чего — задержалась. Смотрю — на, господи, снег-то в отхожем месте за хлевом весь в крови, и на бревнах тоже кровь намерзла.

Я в избу:

— Ребята, кто сичас за хлев бегал? Молчат. И девка молчит и парень.

— Признавайтесь, говорю, неладно ведь у вас. К дохтуру надо. Тут Степанушко у меня и повинился: «Я, мама». Я уж и сама догадалась, что он. Парень уж когда, с самой осени, небаской с лица. И день в школу ходит да три лежит. А раз прихожу домой — по сено ездил:

— Мама, говорит, ко мне сегодня птичка прилетала. Я лежу на лавке, а она села на стволочек рамы да клювиком в стекло тук-тук и все смотрит, смотрит мне в глаза. Чего ей от меня надо?

— То, говорю, замерзла она, в тепло просится. Вишь ведь, говорю, стужа-то какая — бревна рвет.

А птичка-то, оказывается, не простая — смертная. С предупреждением прилетала: готовься, мол, скоро по твою душеньку прилечу. В те поры, когда он, Степа-то, про эту птичку рассказывал, я и в ум не взяла: вся устала, примерзла — до птички ли мне? А вот когда я кровь-то за хлебом при белом свете увидела, тут я про птичку вспомнила. Побежала к бригадиру.

— Так и так, говорю, Павел Егорович, у меня парень порато болен — дай лошади в район к дохтурам съездить. А бригадир, царство ему небесное — помнишь, наверно, Паху-рожу, — нехороший человечешко был, через каждое слово матюк:

— В лес, в лес! мать-перемать!.. Чтобы через час духу твоего здесь не было!

— Нет, говорю, Павел Егорович, кричи — не кричи, а повезу парня в больницу. Ты, говорю, и правов таких не имеешь, чтобы меня задерживать. Павел Егорович стоптал ногами, войной меня гнуть: «Я, что ли, войну выдумал?», а потом видит, война не помогает — бух мне в ноги:

— Что ты, говорит, Офимья, опомнись! Парень твой как-нибудь недельку промается, а мне ведь, говорит, за то, что лошадь в простое, — решка... Я пришла домой, плачу:

— Ребята, говорю, что мне делать-то? Бригадир в лес гонит... А ребята — что! Разве можно в таком деле ребят спрашивать?

— Поезжай, мама! Надо помогать братьям. В ту пору у нас еще все живы были: и Петя, и Ваня, и Паша, и Егор. Ну, поехала. Как не поедешь. Тогда ведь не просто робыли — деньгу в лесу зашибали, а лесную битву с врагом вели. Так у нас про лесозаготовки внушали — и взрослым и школьникам. Терпите! Поможем нашим сыновьям и братьям на фронте... Ох, что пережито! Теперь начнешь вспоминать, не всяк и верит. Как, говорят, можно целую зиму прожить, и чтобы без хлеба? А мы не видели в эту зиму хлебного — все до зернышка на войну загребли. Да и картошки-то было недосыта. Одного капустного листа было вволю. Вот Степа-то у меня через этот капустный лист и простудился, на нем здоровье потерял. В покров прибегает из школы — как раз в ту пору затайка исделалась, на полях снег водой взялся:

— Мама, говорит, люди на колхозном капустнике лист собирают. Нам бы, говорит, тоже надо.

— Надо бы, говорю, парень, да мать-то у тебя из упряжки не вылезает. А вечером-то с работы прихожу — на, изба-то у меня полнехонька листу. Анка сидит с лучиной, в корыте моет. А кто наносил, не надо спрашивать, — Степа. Лежит на печи — только стукоток стоит, зуб на зуб не попадет, начисто промерз. Сам знаешь, каково на осеннем капустнике по воде да по грязи бродить. Да в нашей-то обуви. И вот сколько у меня тогда ума было. В лесу два сухаря на день давали — радуюсь. Ладно, думаю, нет худа без добра. Я хоть Степу немножко поддержу. Может, он у меня оттого и чахнет, что хлебного тела не получает... А вернулась из лесу — Степа-то у меня уж совсем худ. Я сухари на стол высыпала: Степа, Степонец родимый! Ешь ты, бога ради, сколько хочешь. Хоть все зараз съешь... А Степа за сухарь обеими руками ухватился, ко рту поднес, а разгрызть и силы нету.

— Я, говорит, мама, в другой раз. Ну, я и лошадь не отводила на конюшню. Судите, хоть расстреляйте на месте — повезу парня в больницу! Не довезла... Одну версту не довезла... Спуск-то перед районом помнишь? Большущая лиственница стоит, комель обгорелый. Ну, дак у этой вот

лиственницы Степина жизнь кончилась. Стужа была, мороз, я все одежды, какие дома были, на него свалила, а тут, у листвы, немного приоткрыла.

— Степа, говорю, к району подъезжаем. Можешь ли, говорю, посмотреть-то? А он сам меня просил: «Мама, скажи, когда к району подъезжать будем». Ребенок ведь! Нигде не бывал дальше своей деревни — охота на белый свет посмотреть. И вот Степанушко у меня голову приподнял

— Мама, говорит, как светло-то. Какой район-то у нас красивый...

Да и все — кончился. Так на руках у матери дух и испустил. Не знаю, не знаю, что бы тогда со мной было, наверно, заревелась бы тут, у лиственницы, а не то замерзла — страсть какой холодина был. Да хорошо, на мое счастье или несчастье, Таисья Тихоновна попалась, председатель сельсовета. Из района домой попадает. Пешочком. Так председатели-то тогда ездили. На своих. Лошадей-то на весь колхоз три-четыре оставляли, а остальных в лес, на всю зиму. Хорошая у нас была председательница. Бывало, поблажки от ей не жди — в лес там, на другую какую работу сама гонит, а у кого горе в доме, похоронка, чего другое — там уж она завсегда. Первая причитальщица. Бывало, так и говорила: «Нечем мне вам, бабы, пособить, ничего сейчас у советской власти нету, кроме слез да жалости». Ну и плакала, не жалела себя. А в другой раз, видит, слезой да жалостью человека не пронять, и поругает, побранит. Меня тогда не один день жучила.

Да и все — кончился. Так на руках у матери дух и испустил. Не знаю, не знаю, что бы тогда со мной было, наверно, заревелась бы тут, у лиственницы, а не то замерзла — страсть какой холодина был. Да хорошо, на мое счастье или несчастье, Таисья Тихоновна попалась, председатель сельсовета. Из района домой попадает. Пешочком. Так председатели-то тогда ездили. На своих. Лошадей-то на весь колхоз три-четыре оставляли, а остальных в лес, на всю зиму. Хорошая у нас была председательница. Бывало, поблажки от ей не жди — в лес там, на другую какую работу сама гонит, а у кого горе в доме, похоронка, чего другое — там уж она завсегда. Первая причитальщица. Бывало, так и говорила: «Нечем мне вам, бабы,

пособить, ничего сейчас у советской власти нету, кроме слез да жалости». Ну и плакала, не жалела себя. А в другой раз, видит, слезой да жалостью человека не пронять, и поругает, побранит. Меня тогда не один день жучила.

— Сколько, говорит, еще реветь будешь? Сыновья на фронте, голодные, холодные, может, — рев им твой надо? Не забывай, говорит: ты мать, да и над тобой мать есть. Всем матерям мати... Ох, Таисья, Таисья Тихоновна... Сколько годов минуло! Самой уж, наверно, лет двадцать в живых нету. Скоро после войны свернуло, надорвала, видно, на нашем горе сердце, а я все с ней разговариваю — вслух, по ночам. Разговариваю да спорю. Анна, дочь, проснется:

— Что ты, старуха дикая! Сказано тебе: война Степу съела.

— Да, может, и не война, говорю. Над старшими, говорю, мати не вольна, а малой-то возле меня был. Я недосмотрела.

— Да когда тебе было досматривать-то? Ты в лесу была.

— А что бы, говорю, случилось, кабы я на день, на два позже в лес выехала?..

Анне сказать нечего, да и утром вставать рано (скотницей робит), заорет:

— Да дашь ли ты мне покоя? Когда у нас это кончится? Я замолчу — беда, нервный народ стал, все в крик, все в горло, а про себя думаю: никогда не кончится. До скончания века не кончится. До той поры, покуда материнское сердце живо...